



# Дмитрий Бобышев

Февраль  
на Таврической улице

пальмира / поэзия

**T8 RUGRAM**



ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ

*Февраль  
на Таврической улице*



ПАЛЪМИРА

Т8 Издательские Технологии

Москва / Санкт-Петербург

2 0 2 0



## *Февраль на Таврической улице*

Каждый угол на этой улочке,  
Затвердившей его ненастье,  
Был обшарен глазами колючими  
И ошпарен был рифмами наспех.

И прохожий, задумав каверзу  
Своему преуспевшему другу,  
Замечал, как чудно спотыкается  
Человек, огибающий угол.

День встречал его светом и холодом,  
Как особая форма озноба;  
И улыбка была приколота  
Справедливой, высокой злобой.

И прохожий, задумавший каверзу  
Своему преуспевшему другу,  
Никогда и ни в чём не раскается,  
Только будет стихом перепуган.

Так кромсать своё сердце наскоро.  
Разбегаться в цветах побежалых.  
Знать, что если тоска угластая,  
Значит солнце в ней дребезжало.

февр. 1956

## *Урожай*

*Сергею Вольфу*

Овсы  
И овцы  
    осенью  
Рассыпались  
У озера,  
В котором отражались  
Овсяные урожаи.  
Прямо с берега природа  
Опрокидывалась в воду.  
Утро. Много блеска.  
Опрокинулись без плеска  
Все растенья и деревья.

И крестьяне из деревни  
    шли,  
Глубоко поражаясь,  
На уборку  
    урожая.

Небо на востоке  
Бьётся в розовом восторге.  
Это солнце  
    спозаранку  
Хочет небо поцарапать.

Осторожный  
    синий холод.  
Солнце в нём  
    остро  
И голо.

Осень тихая и чистая.  
Сыплют в небо свои листья  
Все растенья и деревья.  
И крестьяне  
Из деревни  
шли,  
Зиму опережая,  
На уборку урожая.

Шли  
Работать здесь до вечера  
По дорожным  
Рыжим камням.

Осень двигалась навстречу  
Осторожными  
Прыжками.

1957



## *Несколько первых цветов*

Тогда, в начале дня, в начале месяца  
Я нёс к тебе весеннее созвездье.  
Должно быть,  
И нелепо, и потешно  
Я шёл, как с чистой склянкою аптечной.

Ты мыла волосы. Ты не хотела выйти.  
Как будто с возрастом  
                                во взрослых можно вырасти.  
Должно быть,  
                                так потешно, так застенчиво  
Я нёс его в ладонях, словно птенчика.

Весеннее прохладное созвездье,  
Оно ночами  
                                Из-под снега светится.  
Нечаянно приснится мне.  
Нечаянно.  
Как ты.  
                                Ах, это всё было вначале.

май 1958

\* \* \*

*К. П.*

Где ты бываешь?  
Где ты забываешь  
Мои уходы, шорохи, касанья?  
Кому согласно головой киваешь,  
отломленную веточку кусая?

Твоя совсем заброшенная комната,  
она живёт, она грустит о ком-то.  
Чужие люди ходят, курят.  
Позвякивают стёкла по ночам.

Где ты вчера была?  
Какую  
ты песню пела поначалу?

И плакала, кусая веточку,  
и проходила мокрым парком.  
И кто-то знающий и сведущий  
тебя утешил летним Парголовом.

Твоя оставленная комната,  
она живёт, она грустит о ком-то.  
Стучат сухие доски по ночам.

Где я найду тебя, такую,  
какую знал я поначалу?  
Где, из провалов, рёбер, ям,  
та лестница  
кошачья, окаянная?  
На самом подступе к дверям

я грохнусь о неё коленями.  
Ведь лестница  
и та под мною ластится!

А ты идешь себе...  
И только дождь  
вгоняет в землю тоненькие клинья.  
И в городе идет такой же ливень,  
и он, не хуже и не лучше,  
у рюмочных и поликлиник  
похожие разводит лужи.

А ты уходишь...  
Ты сама не знаешь,  
куда уходишь?  
Где ты забываешь?

1958

\* \* \*

Н. К.

*Со мною девочка идёт, Наталья.*  
Ты словно туфелька, моя Натальюшка,  
и словно лодочка, надо льдами  
ты на ледышки, идешь, наталкиваешься.

У школьников в пеналах — *марки*,  
в портфелях мокрые лежат тетради...  
Мы школьники с тобою в марте,  
на завтраки мы все потратили.

И улицы для нас проветрены,  
*начищены, блестят как никелевые.*  
И все деревья стоят приветливые,  
и скоро белые наши каникулы.

О, ракушка на море летняя,  
о, как засасывает глубина!  
Ты — *доньшко мое последнее*,  
откроешься — *и нету дна...*

И небо — *звёздами и медузами*,  
земля — *пещерами и дверями*  
сквозят, просвечивая донизу,  
и кажутся совсем дырявыми.

И девочка над миром тающим,  
проветренная и сквозная —  
ветрами теплыми, налетающими,  
и ты просвечиваешь, я знаю!

март 1958

## *Солдатский треугольник*

*Владимиру Уфлянду*

Ты сегодня устала. Спи себе.  
По уставу  
Пишутся письма.  
Он приходит обычно к ночи,  
Треугольный солдатский почерк.

Полистаешь его у лампы,  
Переставишь её  
Поближе.  
Ты сегодня устала.  
Легла бы, слышишь?

Тундра.  
Трудно. Рабочий ветер.  
Он настёгивает гимнастёрку  
Из холста беззащитного цвета.  
Это там,  
На конце ответа.  
Говорят о далёких семьях.  
Ковыряют  
Мёрзлую землю.

Трудно.  
Тундра. Идут оттуда  
Поздним часом солдатские письма.  
Попечалься,  
и спи себе...

1958

## *Нонне Сухановой*

Исполненный любви и восхищенья,  
представив Вас мгновенно средь колонн,  
Вам, Нонна, я преподношу стихотворенье,  
я исполняю свой полупоклон.

Итак, я верный Ваш полупоклонник.  
Пардон. Полупардон-полуприказ:  
Хотите стать звездю кинохроник?  
Так спойте же тихонечко для нас.

Сравните, Нонна, наши музы, Нонна,  
Сравните души и спасите их.  
Они представляются так обновлённо, Нонна,  
Что и грешно, и стыдно видеть их.

Они представляются так обнажённо,  
Как в поликлинике ужасный мой скелет.  
И скушно мне, и помогите, Нонна,  
Достать мне помогите пистолет.

Ах, мне довольно в жизни уж нотаций,  
И я не жил, я Вами только бредил.  
Билет оставив в урне, плащ в передней,  
Я в зал вхожу, я к Вам иду на танцы.

И сразу — девочка и девочка,  
Две девочки танцуют.  
А что поделаешь, никто не приглашает.

Здесь так естественно извёстка позлащёна,  
Любовь так натурально расторопна.  
Так почему же пиво пьёт сластёна,  
Употребляет бриолин растрёпа?

А эта девочка сладёна,  
Похожая фигурой на диван,  
Танцует, танцует,  
А с нею мальчик, наверно, хулиган.

А рядом девочка растрёпа —  
Похожа на стиральную доску...  
Танцует тоже,  
И с нею мальчик, тоже, наверно, хулиган.

А Нонна головою всем качает  
И стройными ногами для всех перебирает.

А рядом девочка пипирочка  
Похожа на свистульку,  
Танцует, флиртует  
и складывает парню фигу-дульку.

Потом исчезла за фанеркой,  
теперь опрятно писает в стакан.  
И ждёт её, и ждёт он перед дверкой  
Всё тот же мальчик, тот же хулиган.

А Нонна головою всем качает,  
Сама не зная, как она меня спасает.

Настройте, Нонна, и меня на этот лад,  
Чтоб жить и лгать, плести о жизни сказки  
И раздавать бы скромный свой талант,  
Как раздаёте Вы мотив американский.

Словно консервную даёте вы тушёнку,  
Дешёвую — на бедность,  
Как бы Евгений Евтушенко,  
Столь поразивший современность.

февр. 1960

*Дом книги*

Солидарность, — кричу, — солидарность!  
Соблюдая упрямство осла.  
Двадцатипятилетняя давность  
От рожденья меня унесла.

По проспекту меня протащила,  
Процарапала плоть до кости,  
Да и бросила — вот ты мужчина,  
Разбирайся, чего же достиг.

Разбираюсь, гляжу — магазины  
Предо мною волочит проспект.  
Всё пижоны мелькают, грузины,  
А друзей моих нет тут, как нет.

Из каких же вернулся я странствий,  
Что, увы, даже выпить мне не с кем.  
Остаётся пройтись иностранцем  
Или глухонемым, наконец.

Ах, мой Невский,  
Мой маленький Невский,  
Литл Невский, пти Невский, птенец.

А Нева — это городу ванна,  
Это горлу компресс, влажный шарф.  
От простудного продуванья  
Я укрыться хочу в книжный шкаф.

Я — за створку, я — на антресоли  
Хитрой мышкой сожмусь в уголку.  
Только снова найдут, опозорят,



Снова выдворят, и ни гу-гу.

Что ж, вали меня с мусором в урну,  
Где куражится каждый юнец,  
Утверждая, что литература —  
Это дура, лишь он молодец.

Но не с этими я портачами,  
Я с почтением ем твои книги,  
Ведь они утоление печалей  
Обещают решительно всем.

Ах, Дом Книги,  
ах, милый дом Фиги,  
Дом вязиги, ах, я тебя съем!

Накормите голодное ухо  
Хоть сухариком. Ведь этот дом —  
Кухня слова, столовая духа  
В доме города дорогом.

Только ясность кристального чтива  
Подозрительна именно там,  
Где она будто мёд, словно пиво,  
Размягчённо течёт по губам.

Я берусь отличить их по роже,  
Кто читатель, а кто верхогляд.  
Вот он — с будкой, с башкою порожней,  
Как Авраменко, сыт и усат.

Даже книгопродáвице, детке,  
Даже Люсеньке сладки для слуха  
Книжки-булочки, книжки-конфетки,  
Предпочтительней всех — ананас!

Вот, приятель, какая проруха.  
Очевидно, Парнас не про нас.

Очевидно — Парнас это зона,  
Где за проволокой — пирожок.  
В нём замешена слава с позором.  
Кто любитель? Смелее, дружок.  
Под заботливым прыгай надзором:  
Поражение. Новый прыжок.

июль 1961

## *Я живу*

*Памяти Осипа Мандельштама*

Не ты ль, отец, и тень твоя со мною?  
Не ты ли шлешь из сумрачных веков  
ворчание, молчание ночное,  
возню серебро-серых облаков?  
Не так же ль у тебя такой же ночью  
век оборотень душу уволок?  
Не так же ль на меня ужасной ношей  
напрыгивает оборотень волк?  
Услышь, услышь, не спи,  
        мой крик прощальный,  
услышь, не дожидаясь до зари,  
Кто б ни был ты,  
        мой сын далекий дальний,  
печаль мою послёзно повтори.  
Ты ещё жив? И я когда-то думал,  
любовь не понимая, не щадя:  
я жив ещё. В груди моей угрюмой  
свисает ветвь осеннего дождя.  
— Беда, беда, — зову я, выбегая,  
Навстречу мне желанная беда.  
— Убейте меня, что ли, дорогая.  
Любовь вас не полюбит никогда.  
Но и меня любовь уже не лечит,  
а из угла прожорливо глядит.  
Сама уже несчастьем не перечит,  
сама — несчастье, так она звучит:  
звенит, звенит надсадною струною  
и начинается в ухе звезденеть,  
и голос свой примешивают к вою  
не смерть, но равнодушие и смерть.

Но и под грохот этого дуплета  
улавливает слух военный гром.  
Безумная тогда выходит Грета,  
и Брейгеля дрожит серебряный дом.  
Но тихо, тихарями, мастерами  
идем мы на работу. Город спит.  
И родина народными руками  
добротное убийство мастерит.  
Как много дел бесчестных и опасных  
мы делаем усердно по утрам,  
и кое-как сколачиваем наспех  
бессмертие свое по вечерам.  
А неслуха не любит век железный:  
служи или молчи. Не замолчу.  
Отец мой давний, сын мой неизвестный,  
меня уж нет... Но вот же я, звучу.  
Таврическая улица

авг. 1961

## *Псалом*

Хоть медью отрави, хоть мёдом  
Отравленным наведайся в груди,  
Хоть изувечь, а под огромным сводом  
Гармонии отведать — награди.

Приплёлся я к тебе, о стоголосый,  
С поклажей безголосости твой сын.  
И жилы мне сгрызает, струны, лозы  
Конёк твой золотистый — клавесин.

Он тихие фонарики развесил,  
Звонки свои, гудочки раздарил,  
Он тихую передо мной разверзнул  
Такую глубь, что я с последних сил:

— Дай, Ласковый, дай, Грозный, муку, —  
Вскричал, — но покажи устройство горл,  
дающих мёд и медь пустому звуку.  
Гармонии отведать — я пришёл.

Пришёл, а над молчаньем, как над бездной,  
Заклёпанный в оковах ураган.  
Он просыпается, рычит и прёт, победный.  
— Ну так скорей сжирай меня, орган.

И я уже подумал: всё, погибель,  
Хоть струнами себя исполосуй.  
А вышел Ты, узнал меня, увидел  
И ликом показал: мол, поцелуй.

И голос дал, и глаз, и в руку биту  
Свинцовую для верности вложил.  
И молвил: — Ты мне службу б сослужил,  
Когда партиту бы сыграть тебе, партиту.

март 1962

## *Мадригал*

Г. Н.

Тебя, красавица, не запретить,  
когда тебе самой запретом быть,

и в комнате когда до потолка  
строжайшая решётка — два замка.

Но значит дозвольтельницей слыть,  
когда запретом быть, запретом быть.

Ты знаешь, так фонарь среди ветвей  
безлиственных гнездо себе свивает,  
как белые вокруг темноты твоей  
рассветы белый свет располагает.

И так же точно, чёрный свет лия,  
небесный мрак блистает отовсюду.  
И странно улыбается моя  
белесая душа ночному чуду.

И странное тогда заходит в грудь  
словесное такое утешенье:  
всю ночь прощаться с ночью — ночи суть,  
а сердце сути всё-таки прощенье.

А гром цеповный, а запретов лес!  
Но сколько б ты меня ни отсылала,  
в прощальном поцелуе, наконец,  
простительная страсть была начала.

Ты ночь сама. Ты свой сама запрет —  
повсюду, но не рядом появляться.  
Ох, милая, тебя бы мне... Ах, нет.  
Тебя, красавица, хоть голосом касаться.

1962

*Ещё более, чем раньше*

Г. Н.

Километров редкий лес,  
проводов железных трасса  
растворяют твой отъезд  
по всему меж нас пространству.

Каждый куст и каждый час,  
звук отдельный в перестуке  
растворяют — каждый — часть  
соразмерно, часть разлуки.

С этим свойством не знаком,  
создан силами влечения,  
входит в сердце целиком  
только образ твой вечерний.

Только ты, отдалена,  
узнаёшь по праву страсти,  
что и вправду страсть одна  
нераздельная в пространстве.

И ещё узнаешь ты:  
кто распробовал однажды,  
до чего ж беды, беды,  
потрясённый, снова жаждет...

Но пока твой путь таков,  
что заполнена разлука  
шевеленьем облаков,  
бездной воздуха и звука.

июнь 1962

## *Свидание*

Я буду прятать,  
а ты проверь,  
что скрыло сердце,  
а что портфель:

два узких следа  
и узкий смех,  
и два билета  
к заливу в снег...

Дух можжевельный,  
в нём ты да я,  
и эти жерла  
желания.

Я стану пугать,  
но ты не верь —  
в наш узкий номер  
я помню дверь,

испуг и шепот,  
и, сгоряча,  
в два оборота  
прокрут ключа...

И вдруг метелью  
валило дом  
с окном, с постелью  
и сверху дном.

Была бы в пору  
нам эта связь



и до отъезда,  
и возвратясь

двумя огнями  
двух узких фар,  
и — снег навстречу  
на этот жар,

на свет, на скорость  
и сквозь стекло.  
Тебе натаяло,  
мне натекло.

Меж двух каналов,  
двух площадей  
мы снова канули  
среди людей,

людского леса  
житья, жилья,  
и неизвестно,  
кто ты, кто я.

дек. 1962

\* \* \*

Взгляд, отталкиванье, дыхание,  
угол рта, шепоток «не надо»  
и какая-то полыханная,  
окаянная блазнь и привада.

И дырвят два нежных крика  
угол комнаты, угол простыни...  
Боже, как это всё-таки дико!  
Мы и таем, и стонем, и стынем.

Светит время темно, словно угли,  
и блестит, окаймляясь, полоска, —  
здесь, на влажном виске у подруги  
тушью тронута тонкая слёзка.

1970

\* \* \*

В сердечный переплёт,  
хочу я или нет,  
затмение идёт,  
потом опять рассвет.

Душой не покривлю,  
когда скажу такое:  
всех помню, всех люблю,  
за всё плачу тоскою.

Влечение, разрыв,  
надсада поцелуя  
и в сердце перебив  
навек, пока живу я.

Навек, навек, навек,  
навряд ли навечно  
твое дрожанье век  
вошло в тот сбив сердечный.

И Ваше там лицо,  
и твой смятённый вид,  
а в глубине кольцо  
дарёное блестит.

Начала и концы,  
и слёзы посредине,  
как будто леденцы  
сластят, горчат отныне.

И вроде вышел срок,  
а всё тоска одна.  
И скудость этих строк  
лишь ею решена...

сент. 1962

\* \* \*

Зима-хрустальница, прости, что строгий блеск,  
быть может, оскорбили мы весельем,  
что скромное сверкание небес  
не вяжется, прости, с моим везеньем.

Зима-зеркальница, припудри белый свет  
пуховкой белою, подёрни серым лесом.  
Сегодня, понимаю, твой запрет  
я нарушаю чувством неуместным.

А уж весною тянет за версту,  
уж не морозит, а знобит округу.  
Зима-красавица, прости за красоту,  
не застуди вконец мою подругу.

март 1963

## Портрет

В. А-ич

По черному, вгоняя землю в дрожь,  
зимы прошелся белый грифель,  
зимы промчался черно-белый вихрь,  
замахиваясь на меня, как нож  
разбойничий. Бросая душу в дрожь.  
По-черному пришла ко мне любовь.  
Как птицы по ночам с насеста  
срываются, нм оборвавши сердце,  
разбив крылом и оцарапав бровь,  
ресницы обломив, пришла любовь.  
Такое ж обмиранье и испуг,  
во рту такой же стукот дробный  
и — крупно — глаз от близости огромный,  
и шарф, и вырывание из рук,  
как птицы крик ночной и вкривь и вдруг.  
Да, образ твой меня, как мягкий нож,  
грозя бедой, вгоняя душу в дрожь,  
застал, застиг, как «Стой, подлец, молчи!» —  
азартный крик грабителя в ночи  
под окнами прохожих застает.  
А выглянешь — одна зима идет.  
По белому, роскошествуя черным,  
но и не тратя все без толку,  
то прутик выбелив, то затенивши елку,  
то наспех кое-где черкнув вороной  
над крышею, морозом убеленной,  
она (не различу — зима? любовь?)  
пришла, и белый шарф, и глаз, и бровь.

Февраль 1963

## *Белое и голубое*

Она белела именем своим,  
и, стало быть, прожекторная рана,  
которой тёмный берег был язвим,  
так мучила меня светло и странно,  
как это имя самое — Светлана.

Светлане льнули: пыльный мотылёк  
и гладкое барахтанье дельфина,  
и визги птиц, и я сказать бы мог —  
весь тёмно-синий с золотом денёк,  
но тут прошла другая половина,  
и ею ведала уже Марина.

Марина все дела делила вдоль,  
расчёсывала их светло и длинно  
при том, что даль в лицо зевала львино,  
при том, что в нас, обгладывая соль,  
свободная потягивалась боль, —  
всё вымывала взорами Марина.

Мариной, крутизной, голубизной  
наполненный, шатался воздух пьяно,  
а слаломная качка акваплана  
как бы перелопачивала зной,  
и в доску разогретою сосной  
прохлада стлалась, и была Светлана.

Освоила она морской фасад  
и пенную Маринину лепнину.  
Марина многоярусный закат  
приноровила. И тридцатикрат  
перешумело всё...  
Те дни уже не вызволить назад,  
не вызвать ни Светлану, ни Марину.

август 1967

## *Движение в морском пейзаже*

Здесь выпуклое море на песке  
качается в протянутой руке.  
Да, так оно и видно: под водою  
приподнятое всунутой ладонью.

А голову закинешь — о, Господь!  
Под бело-голубыми небесами  
ещё одна возвышенная плоть  
в запястье перехвачена часами.

Но первая и правая рука  
у дна колышет пальцами слегка,  
а по тому же самому подобью  
колеблется и суша под водою.

Предплечье шевелится на мели,  
а кисть на глубину идёт у спуска  
и, воду отделяя от земли,  
вытаскивает скользкого моллюска.

Ну а другая, левая рука  
запущена по локоть в облака  
и, вызывая медленную бурю,  
всё что-то шарит в облаке вслепую.

Но вынула она запястье, кисть,  
а в пальцах шевелящаяся роза,  
где лепестки и крылья, клюв и лист —  
всё белое, всё взмахи альбатроса.

И голубое дёрнулось легко,  
створаживаясь, будто молоко.

А синее на эту перемену  
ещё белее скручивает пену.

Но вот соединились две руки.  
Весь промысел на миг остановился,  
и пенистые свёртки и круги  
изобразили облачные выси.

И альбатрос летит, раскрывши клюв,  
летит, моллюска наскоро сглотив.  
Сквозь ровный шум, как будто острым пиком,  
он небеса пронзает острым криком.

Дыра возникла, он в неё вошёл.  
А вот уж и отверстия не стало.  
А вот уж и пропал небесный шов.  
И только на запястье, у часов  
на циферблате солнце заблестало.

1963



*Анне Андреевне Ахматовой*

Ещё подыщем трёх — и всемером,  
Диспетчера выщеливая в прорезь,  
Угоним в Вашу честь электропоезд,  
Нагруженный печатным серебром.

О, как Вы губы стронете в ответ,  
Прилаживаясь будто для свирели...  
Такой от них исходит мирный свет,  
Что делаются мальчики смиренны.

И хочется тогда корзиной роз,  
Роскошно отягчая мотороллер,  
У Вашего крыльца закончить кросс  
И вскрикнуть дивным голосом Тироля:

Бог это Бах, а царь под ним Моцарт,  
А Вам улыбкой ангельской мерцать.

И будто бы моторов юный гром,  
И словно этих роз усемиренье,  
Не просится ль тогда стихотворенье  
С упоминаньем каждого добром?

1963

## *Раннее Средневековье*

*Ефиму Славинскому*

Только меч да кольчуга. Да свитер сырой  
под кольчугой. Да маленький остров  
под ногами. И парень, покрытый росой.  
Это — рыцарство. Или сиротство?

Потому что не знает он: ближе к зиме  
стать ли добрым ему, быть ли злобным?  
И так мало народу ещё на земле,  
что не с кем и перекинуться словом.

янв. 1962

## *На арест друга*

*Ефиму Славинскому*

Не получился наш прекрасный план,  
всё сорвалось... Держись теперь, товарищ!  
Делили мы безделье пополам,  
но ты один и дела не провалишь.

А всех трудов — то было — лёгкий крест  
процеживать часы за разговором,  
мне думалось: ты — мельник здешних мест,  
ты — в мельника разжалованный ворон.

Безумного ль, бездумного держал  
то демона, то ангела над кровом.  
Один запретным воздухом дышал,  
орудовал другой опасным словом.

За это — а за что тебя ещё —  
и выдворили из полуподвала,  
и — под замок. Жить, просто жить и всё,  
оказывается, преступно мало.

Виновен ты, что не торчишь у касс,  
что чек житейских благ не отоваришь.  
И, веришь ли, впервые на заказ  
пишу тебе — держись теперь, товарищ.

1970

## *День года*

*Льву Друскину*

В последний летний тёплый день года,  
когда уже в саду совсем осень,  
мы вспомнили о дне другом, зимнем,  
до праздников примерно дней за семь.  
И дров-то будь здоров брала печка,  
горячий нижний свет лила в лица,  
и дня хватало нам вот так, с верхом,  
чтобы поймать, хоть раз, взгляд друга ...  
С утра затопишь печь, глядишь — вечер,  
и в вечность наш денёк уж весь вышел,  
и лыжи не нужны. Ну дай выпить  
за тот последний тёплый день года.

Комарово, 1964

\* \* \*

*Иосифу Бродскому*

Жизнь достигает порой  
такой удивительной плотности,  
что лицо разбивается в кровь  
о кулак её милости, скорости,  
  святости, подлости, кротости.

Попроси, и расскажут тебе  
лётчик, гонщик, погонщик коней  
  и нырлящик —  
может выломать руку в локте  
многотонного воздуха ящик,  
с жутким свистом мимо летящий.

Только ночью, себя от него отделив одеялом,  
ты лежишь, семикрыл, рыжеват, бородат,  
  космоват,  
и не можешь понять, кто же ты —  
  серафим или дьявол?  
Основатель пустот?  
  чемпион? идиот? космонавт?

февр. 1964

## *День Родин*

    Был день 8-ого октября.  
Какая-то разряженная фря  
глядела хмуро на сырые зданья.  
Шёл дождь. Она и вырядилась зря,  
и ожидала зря свиданья.

    Тут я прислушался...

Будильник прорычал 11 сквозь рыданья ...

    Тут я прислушался: как будто кричит утка.

Кто там архангел или бес  
влез в механизм, испортить время тщился?

    Нет, хрюкает перо моё, как незабудка.

Никто, однако не воскрес,  
и явно Судный день не получился.  
А складывался день родин.

Есть числа... № 1001  
проквалкал на задку автомобиля,  
чьи запорожистые крылья,  
ручаюсь, никого ещё не сбили.  
Однако цифры парюю нулей  
напомнили мне мотоцикл «харлей»,  
тем самым задавив Шахерезаду.

    А ну, хозяйюшка, налей.  
Счастливчик кряду

Две рюмки выпил коньяку,  
и счастье откурлыкнулось: — Ку-ку!

Когда б оно давалось по делам,  
по справедливости, а не манером подлым...

День лопнул пополам,  
и пушка выпалила: — Полдень!

... тогда бы счастлив был я в день родин.

Я так один.  
Я Райнера люблю Марию Рильке...

А как же та, что связь свою ждала?  
Да, повернулась та в сердцах на шпильке  
и, бурно шевелясь, ушла.

... вскрикнувшего : — Русь граничит с Богом!

Граница эта — на замке.

Как бы щипок Пирке,  
на рукаве чахоточном, пологом,  
любовники 5 щепок воспалили  
и плачут оба: принятый зарок  
неисполним.

Быть вместе — лишь в могиле.  
И километры переходят в мили,  
дымится грязноватый костерок.

Дым в сторону летит, неблагоприятный...

А в будке телефонной  
один подлец о девушке своей

заклеветал, но стих, как соловей,  
прошитый очередью многоточья...

... всю будку раскурочь я, —  
сильней не проняло бы проститута...

14 часов 01 минута...

... чем те короткие гудки.

100-крат секундочки становятся горьки,  
и время цедится сквозь зубы, как цикута,  
когда конец его и день родин  
назначены на день один и тот же.  
Когда — один...

В — шалман, вот храм!  
Здесь неудачник выпьет 200 грамм,  
и все дела...

Под это дело килечка пошла,  
но вот непруха:

стакан из рук, и — об пол — дрызнь!

Добро и зло — всё вместе —  
смешались в жизнь  
коктейлем 50 x 200.

Отрава. Всё же пьём. Худая мера.  
А меряет фавор и горе эта гиря.

Я так люблю Бодлера...

Бодлера, слышите, люблю!  
Не он ли написал на целом мире:



— Аля-улю!

Так скинемся же, братцы, по рваненькому...

— А ну отсюда вылазьте!

Выводят водочника из кабацкой пасти,

но постовой попался — человек.

Алкаш отпущен был во славу нашей власти.

Я так один, что, кажется, навек.

17.40 на запястье...

За стонущий держусь я водосток.

Случайно этот миг я всё ж засёк.

И вот — свидетельствую: мир не изменился...

Но мальчик вдруг, зажмурившись, родился.

1967

## *Траурные октавы*

*Памяти Анны Ахматовой*

### **Голос**

Забылось, но не все перемололось...  
Огромно-голубиный и грудной  
в разлуке с собственной гортанью голос  
от новой муки стонет под иглой.  
Не горло, но безжизненная полость  
сейчас, теперь вот ловит миг былой,  
и звуковой бороздки рвется волос,  
но только тень от голоса со мной.

### **Воспоминание**

Здесь время так и валит даровое...  
Куда его прикажете девать,  
сегодняшнее? Как добыть опять  
из памяти мгновение живое?  
Тогдашний и теперешний — нас двое,  
и — горькая, двойная благодать —  
я вижу Вас, и я врываюсь вспять  
сквозь этих слез в рыдание былое.

### **Портрет**

Затекла рука сердечной болью...  
Как Вы посмотрели навсегда  
из того мгновения на волю  
в этот вот текучий миг, сюда!  
В памяти я этот облик сдвою  
с тем, что знал в позднейшие года.

Видеть Вас посмертною вдовою,  
Вас не видеть — вот моя беда.

### **Взгляд**

С мольбой на лбу, в кладбищенском леску  
в день грузный и сырой, зимне-весенний  
она ушла от нас к корням растений,  
туда, в подпочву, к мерзлomu песку.  
«Кто сподличать решит, — сказал Арсений, —  
пускай представит глаз ее тоску».  
Да, этот взгляд приставить бы к виску,  
когда в разладе жизнь, и нет спасенья.

### **Перемены**

Холмик песчаный заснежила крупка,  
два деревянных скрестились обрубка;  
их заменили — железо прочней.  
На перекладину села голубка,  
но упорхнула куда-то... Бог с ней!  
Стенку сложили из плоских камней.  
Все погребенье мимически-жутко  
знак подает о добыче своей.

### **Все четверо**

Закрыв глаза, я выпил первым яд,  
И, на кладбищенском кресте гвоздима,  
душа прозрела; в череду утрат  
заходят Ося, Толя, Женя, Дима  
ахматовскими сиротами в ряд.  
Лишь прямо, друг на друга не глядят  
четыре стихотворца-побратима.  
Их дружба, как и жизнь, необратима.

## **Встреча**

Она велела мне для «Пятой розы»  
эпиграфом свою строку вписать.  
И мне бы — что с Моцартом ей мерцать,  
а я — о превращеньях альбатроса  
непоправимо внес в ее тетрадь.  
И вот — она, она в газетной прозе!  
Эпиграф же — и впрямь по-альбатросьи —  
куда вдруг улетел — не разыскать.

## **Слова**

Когда гортань — алтарной частью храма,  
тогда слова святым дарам сродни.  
И даже самое простое: «Ханна!  
Здесь молодые люди к нам, взгляни...»  
встает магически, поет благоуханно.  
Все стихло разом в мартовские дни.  
Теперь стихам звучать бы невозбранно,  
но без нее немотствуют они.

1971

## *Сонет*

Словесность — родина и ваша, и моя,  
и в ней заключено достаточно простора,  
чтобы открыть в себе все бездны бытия,  
все вывихи в судьбе народа-христофора.

Поток вокруг ног бренчал залиvisto и споро,  
и приняла в себя днепровская струя  
Перуна древний всплеск с плеч богобора  
и плач младенчика, и высвист соловья.

Народу своему какой я судия,  
но и народ пускай туда не застит взора,  
где радужный журавль, где райские края,

где песнь его летит до вечного жилья...  
А впрочем, мало ли какого вздора  
понапророчила нам речь-ворожея!

сент. 1971

## *Грифельная ода*

Уносит всё река времён...  
А что и остаётся,  
тому конец определён  
и вечностью пожрётся.

Но длительнее всех примет  
для шествия земного,  
по-видимому, всё же нет  
не царственное слово.

Но жалкое, но — в свой же мрак  
до Божьего огарка  
так пролепетанное, так  
прорыданное жарко,

что часть предвечную, алмаз,  
светящуюся точку,  
на время вложенную в нас,  
течением лет проточит.

И та взойдёт по крутизне,  
прорезанная блицем,  
как бы на рисовом зерне  
писцом бронзоволицым.

Сольётся крохотный карат  
с пылающею бездной...  
— Так не корить же, не карать —  
спасти Отец небесный

сораспинаемого смог  
за миг перед кончиной!  
А жизнь...

    Что наша жизнь?  
        — Предлог?  
— Для песни лебединой!..

1974

## *Виды*

*Марианне Басмановой*

Не декабрь, а канделябр-месяц:  
светятся окурки в глуби лестниц,  
светятся глаза иных прелестниц,  
зрят из-под зазубренных ресниц;  
светят свято купола Николы,  
охлаждая жар, и окна школы  
отбивают явно ямб тяжелый  
и зелёный блеск наружных ламп.  
На полметра высунулись ровно  
в водостоках ледяные бревна,  
нарисован город столь условно  
сразу после оттепели, но  
на часах выстуживает время  
прапорщик-мороз. Ручное стремя  
так само и прыгает в ладонь;  
под колено бьёт скамья, что вдоль  
в ящике раскрашенном трамвая.  
Едешь, на ходу околевая,  
веруя: мол, вывезет кривая,  
ежели не выдаст колея...  
Белая, средь белых листьев, роза  
в состоянии анабиоза  
вдруг нарисовалась на стекле.  
Это — мысль мороза о тепле.  
Прапорщик-мороз, мороз-хорунжий  
мира захотел при всём оружьи,  
спирту ледяного, стопку стужи  
он людскому вдоху предложил.  
Вот и спотыкается прохожий,  
и, на душу голую похоже, —

облако дыханья возле рта  
держит он за край, замкнув уста.  
Но заиндевел мороз-полковник  
и один из видов законных,  
словно бы окладом на иконах,  
обложил на пляшущих стенах.  
Там дома, собор собой закрывши,  
и кресты, сияющие выше,  
образуют кладбище на крыше,  
золотое кладбище в душе.  
Столько золотых надежд на чудо  
и воспоминаний в нас — о т т у д а, —  
всё должно вернуться из-под спуда,  
только не вернется никогда.  
Да, на уверяющим залогом  
на бегу тяжелом и убогом  
вижу я в продышанной дыре,  
как с фасадов маски шлют гримасы,  
львы встают и шевелятся вазы,  
головокружительные трассы  
ангелы выводят в декабре.

1969



\* \* \*

*Евгению Рейну*

Крылатый лев сидит с крылатым львом  
и смотрит на крылатых львов, сидящих  
в такой же точно позе на другом  
конце моста и на него глядящих  
такими же глазами.

Львиный пост.

Любой из них другого, а не мост  
удерживает третью существа,  
а на две трети сам уже собрался,  
и, может быть, сейчас у края рва  
он это оживающее братство  
покинет.

Но попарно изо рта  
железо напряженного прута  
у каждого из них в цепную нить  
настолько натянуло звенья,  
что, кажется, уже не расцепить  
скрепившиеся память и забвенье,  
порыв и неподвижность, верх и низ,  
не разорвав чугунный организм  
противоборцев.  
Только нежный сор  
по воздуху несет какой-то вздор.

И эта подворотенная муть,  
не в силах замутить оригинала,  
желая за поверхность занырнуть,

подёргивает зеркало канала  
нечистым отражением.

Над рвом  
крылатый лев сидит с крылатым львом  
и смотрит на крылатых львов напротив:  
в их неподвижно гневном развороте,  
крылатость ненавдя и любя,  
он видит повторенного себя.

Март—апрель 1964

## *И зрение, и слух*

*Елене Шварц*

Зеницу глаза абразив созвездий  
у астронома острит и гранит,  
и на сетчатке оседают вести.  
И, оснащён глаголами планид,  
своей полусестре-полуневесте  
он посылает взгляд-многоочит  
и видит: белый камушек на месте  
её сердечка в темноте стучит.

Когда окном небесного ночлега  
мне голубая искрилась звезда,  
я думал: Виноградинка и Нега  
(так светоч называл я иногда)  
мне посылает направление бега.  
За Лирой балансировал туда,  
по этой струнке, голос мой, но Вега,  
должно быть, отвернулась навсегда.

И новыми наплывами запела  
в сверканье херувимских горл и крыл  
благословенно-яркая Капелла.  
Казалось, я навеки насладил  
и зрение, и слух, и дух, и тело,  
но колесницу с нею укатил  
Возничий вдаль от моего предела...  
Тогда я отвернулся от светил.

И вдруг увидел, как крупинкой льдистой  
на камушке замёрзшая вода  
мне отражает самый центр диска.

небесный центр — на крупинке льда!  
И вот уже в глаза мои глядится,  
луч преломив, Полярная Звезда.

Так видел Дант мерцанье Парадиза  
на самом дне страданья и стыда,  
так, дважды преломлённый, луч традиций,  
упал случайно в этот стих, сюда.

— Но морехода взор и слух радиста,  
ведущие Улиссовы суда,  
в Медведицынах ласках возродиться  
сумеют ли? Рассеянное “да...”  
бормочет мне глухой и ломкий дискант,  
да камушком сердечко иногда...

10 февр. 1973

## *Из глубины*

1.

То ли вишенье, то ли буру  
подмешали в чернила:  
что ни выпишется перу —  
всё — кроваво, червиво.  
То ли это калечится мозг,  
так буквально язвимый,  
словно беса колючего Босх  
запустил вдоль извилин;  
то ли, — жертва любовных ловитв  
под рукой сердцелова, —  
растлеваемое, вопит,  
вырывается слово.  
Нарывает, рыдает о двух  
душах, до крови рваных,  
весь в буграх, искореженный Дух,  
как терзал его Кранах.

2.

Что ни час, то неровен...  
А в часу нулевом  
кротко блеющий Овен  
пожирается Львом.  
Срок истек человечесий.  
В том и прок неземной, —  
насыщалась бы вечность,  
что ни миг, новизной.

3.

Дух со следами огня  
наклонялся, и жаждал в меня  
углубиться.  
Тень по границам лица  
и внимательный взгляд пришельца  
вспышкой блица,  
копотная полумгла  
и пронзительный взгляд, как игла,  
были близко.  
Видно, выискивал брешь.  
Двух кровей перейденный рубеж  
и расписка  
вызвали дух из огня.  
Наклонялся, и жаждал в меня...  
Я отбился.

4.

Куда с паденьем Люцифера  
пробита шахтою дыра —  
катастрофическая сфера  
и центр ядра,  
и самый гвоздь существованья,  
где боль его, и крепь, и кость  
вселенская и мозговая  
прошли насквозь,  
где заживо ороговела  
и одеревенела глубь,  
но ржавая в крови каверна  
проникла в луб, —  
оттуда, из кромешной точки,  
где все начала сведены,  
забил таинственный источник,  
ИЗ ГЛУБИНЫ.

6.

Из глубины земной, воздушной, водной,  
сребрясь и восклубляясь голубым,  
пусть разрастется пульс во мне сегодня  
до огненных и духовых глубин.  
Пусть он развалит время, раскрывая  
у мига — немигающую высь...  
Здесь — вечность человечится живая!  
Мое мгновенье, здесь остановись,  
где нестерпимо радуется рана,  
где саднит, мною ставшая на треть,  
та жалость о себе, что слишком рано,  
а я готов, согласен умереть.  
Не раз я был учён, молчу и знаю...  
Но хочет за пределы и края  
запутанная, всякая, земная,  
вот эта жизнь, какая есть, моя.  
И в толщах бытия куда мы денем  
сей нужный возглас: «Человече, сгинь!»  
Пусть удами во мне трепещет демон,  
но блудный сын свой путь уже проделал  
в отцовскую чернеющую синь.

авг. 1976

## *Медитации*

о. Александру Меню

1.

Покатой глубиной утолена,  
медлительно скользит голубизна  
и в бездне опрокинутой витает;  
питает и таит она одна  
и слёзный, и глазной хрусталик.

Но вспыхивает грань,  
голубизной наполненная всклянь  
до искристого перелива,  
и взгляд в голубизну летит счастливо.

И видится прозрачный взлёт  
в бесчисленные полосы высот,  
в зенит, к живым высотам,  
туда, в лазурь, блаженную, как мёд,  
где мысль медовая свеченье льёт  
и льнёт к небесным сотам.

А за размытой бирюзой  
и взгляд, и мысль, повитые слезой  
от незаметных цветочных увечий,  
целительные вызывая встречи,  
в упор касаются Ресниц,  
и — взором проникаются Зениц,  
и — Мыслью — неземной, не человеческой...

2.

Воздушное струенье  
и восходящий ток  
вдруг вывернули зренье  
под лобный потолок,



где, стиснутое в толщу,  
отбросило оно  
пронзительную точку,  
подзорное зерно.  
И в разуме громоздком  
тот высветило толк,  
что любованье мозгом  
есть первый завиток,  
есть вольт самосознания,  
залёт в открытый храм,  
и — в самое зиянье,  
сияющее там...

Так, воспарив, извивы,  
сдуваемые вбок,  
сквозь листиков оливы  
увидел голубок,

до края окоёма  
катящуюся течь,  
что тяжестью влекома  
в излучинах залечь.

По вечной сердцевине  
и вдоль изнанки век  
мой замысел и выверт  
сквозит навывлет вверх,

где сдавленные ткани  
и веющая высь  
свернулись завитками  
в одну и ту же мысль,

что мы с тобой на память,  
вселенная-близнец,

живыми черепами  
срослись в один венец,

в один блаженный ужас.  
Напружься, ум свивал  
цветущую окружность,  
где центром — идеал.

Да, так наименован,  
с тем словом и возник  
всем оболочкам новым  
образчик и родник, —

самоначало смысла!  
Сосок его ростка  
не в лепесток развился —  
в идею лепестка.

В себя же и нацелясь:  
исчезнуть, облачась, —  
нагая эта целость  
отслаивала часть

за частью. И вставала,  
спелёнута в постель,  
в листы, в напластованья  
спиральных лопастей, —

Мистическая Роза, —  
вместилище и кров  
для трепетно и розно  
развернутых краев.

Край мозга и пространство

окраинных крутизн,  
свирепа и прекрасна,  
пронизывает жизнь.

Меж уголков и складок,  
среди тенет, где нет  
ни тени, — дик и сладок,  
всё пронизает свет.

Весь мир светло и страшно  
проскваживает дар —  
божественные брашна:  
амброзия, нектар...

... Душа, роток открытый,  
росу небесных сот  
с благословенной сытой  
из вечности сосет!

### 3.

Не отрицаю: знаю — не достоин...  
А сердце льётся в тихую зарю,  
и плавлюсь я, говею и горю,  
среди кристально-ясного настоя  
страданье вызываю золотое,  
и ужасаюсь, и благодарю.

Да, в центре, у каемки, на краю  
страшит зрачок, сведенный, окаянный  
впуская мириады, океаны  
Твоих сверканий, Свете Мой Царю,  
и я зарю за цвет благодарю  
за раны в созерцаемом сияньи.

За то, что изумительно слиянны  
и зло, и благо; за каратом гвоздь  
в незримую Зиждительную горсть  
и — далее — в мои проник изъяны;  
что муку вижу я как бы из ямы,  
но высвечен до сердца и насквозь.

И вдоль извоев зренья, толщю свойств,  
пронизывая скрытыми путями,  
нисходит луч светящимся питаньем  
в глубины глаза, до животных звезд  
и тканых средостений — вперехлест,  
единым пульсом пусть бы трепетали

с зарей, ломимою прозрачным испытаньем!

Стопами сокровенными зари  
от крестных единений изнутри  
из полуклетки в полуслово прорастая,  
блистая, занялась в груди Живая тайна,  
открыто-золотая: ведай, зри!

И, зренье новое беря в поводыри,  
лети изломами целебного простора  
туда, где молодая вечность свет простерла.  
Там, Душе Всеблагий, благое сотвори:  
возьми частицей в тело чистое зари!  
Смели мои слова в молчание простое,  
смети всю тишину в пустые словари,  
и да раскроются ребристые устрои...

Уста серебряные... Слово золотое...

1975

## *Содержание*

Февраль на Таврической улице . . . . .	5
Урожай. . . . .	6
Несколько первых цветов . . . . .	8
«Где ты бываешь?» . . . . .	9
«Со мною девочка идёт...» . . . . .	11
Солдатский треугольник . . . . .	12
Нонне Сухановой. . . . .	13
Дом книги . . . . .	15
Я живу . . . . .	18
Псалом . . . . .	20
Мадригал . . . . .	21
Ещё более, чем раньше . . . . .	22
Свидание . . . . .	23
«Взгляд, отталкивание, дыхание...» . . . . .	25
«В сердечный переплёт...» . . . . .	26
«Зима-хрустальница, прости...» . . . . .	27
Портрет . . . . .	28
Белое и голубое . . . . .	29
Движение в морском пейзаже . . . . .	30
Анне Андреевне Ахматовой . . . . .	32
Раннее Средневековье . . . . .	33
На арест друга. . . . .	34
День года . . . . .	35
«Жизнь достигает порой...» . . . . .	36
День Родин . . . . .	37
Траурные октавы . . . . .	41
Сонет . . . . .	44

Грифельная ода .....	45
Виды .....	46
«Крылатый лев сидит с крылатым львом...» .....	48
И зрение, и слух .....	50
Из глубины .....	52
Медитации .....	55

